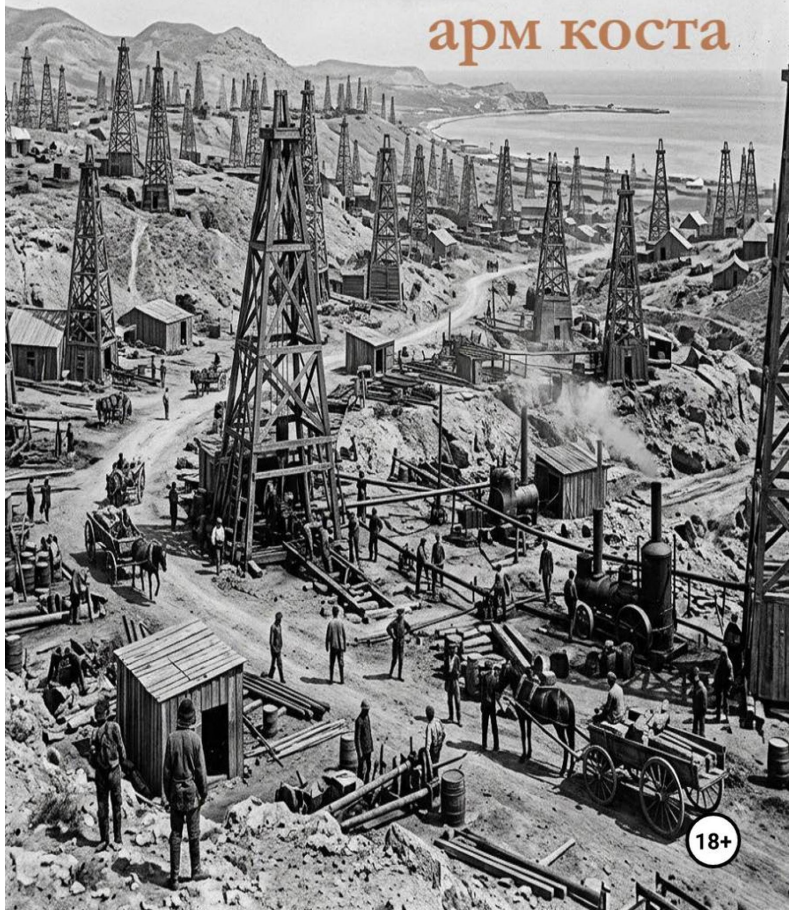


НЕФТЬ

арм коста



Арм Коста Нефть

<https://litres.ru/74566089>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он начал с торговли тканями, а стал нефтяным королём. Баку конца XIX века, схватка с империей Нобелей, поджоги, покушения, предательства и миллионы. Он прошёл через всё, чтобы построить своё дело. Но главное — не деньги. Главное — память. Топор старого каменщика, завещанный ему как символ: «Помни, откуда ты пришёл». Роман о том, как остаться человеком, когда все правила диктует война...

Арм Коста

Нефть

Глава 1. Чёрный город

Баку, октябрь 1889 года

Дорога от Баку до Балаханов была похожа на дорогу в ад — если, конечно, ад пахнет керосином и покрыт слоем мазута толщиной в ладонь. Александр Манташев сидел в тряской пролётке, подпрыгивая на ухабах, и старался не думать о том, что его новое пальто — тонкое английское сукно, за которое он заплатил в Лондоне тридцать два фунта, — уже безнадёжно испорчено. Ветер нёс с востока чёрную пыль, осевшую на воротнике, на рукавах, на щеках. Он провёл ладонью по лицу и посмотрел на пальцы: они были серыми, точно припорошённые пеплом.

— Скоро, скоро, — сказал возница, оборачиваясь. Это был худой тюрк с обветренным лицом и руками, похожими на корни старого дерева. В глазах его читалась привычная усталость, смешанная с терпением, которое приходит лишь от долгой и тяжёлой работы. — Балаханы. Нефть. Много нефть.

Манташев кивнул. Он уже видел её — ещё с парохода, когда «Бакуриани» подходил к пристани. Тогда, на рассвете, море казалось неподвижным, словно застывшим стеклом, и над городом висел дым — не серый, как в Лондоне, не белый,

как в Тифлисе, а густой, жирный, чёрный. Он поднимался к небу столбами, и в этих столбах угадывалось что-то первобытное, древнее, как будто земля сама горела изнутри. Тогда он ещё подумал: вот оно. То, о чём говорил отец. То, что снилось ему в Манчестере, среди аккуратных английских фабрик с их чистыми трубами и воспитанными рабочими. Здесь, на краю империи, пахло не прогрессом, а кровью земли.

Пролётка свернула, и Манташев впервые увидел промыслы.

Это было не похоже ни на что. Чёрные деревянные вышки — сотни, тысячи вышек — стояли так плотно, что напоминали лес, сожжённый и обугленный. Между ними сновали люди — грязные, полураздетые, с лицами, на которых белки глаз казались единственным светлым пятном. Где-то вдалеке гудело, шипело, лязгало. Воздух дрожал от жара, и даже ветер, казалось, был горячим и липким. Манташев почувствовал, как по спине пробежал лёгкий холодок — то ли от напряжения, то ли от предчувствия.

— Господин Манташев? — раздался голос.

Александр обернулся. Перед ним стоял человек лет сорока, в сюртуке, который когда-то, вероятно, был чёрным, а теперь стал серо-бурым от нефтяной пыли. Лицо у него было усталое, но глаза — живые, цепкие, будто он привык замечать каждую мелочь и ничего не упускать.

— Я Мелик-Асланов. Управляющий участка. Мне писали из Тифлиса, что вы приедете.

Манташев протянул руку, но тут же понял, что это ошибка: ладонь Мелик-Асланова была покрыта чем-то липким и тёмным. Тот заметил его замешательство и усмехнулся — усмешка вышла не злой, а скорее усталой, будто он давно привык к подобным неловким моментам.

— Нефть, — сказал он просто. — Она везде. В волосах, в лёгких, в душе. Привыкнете.

Они пошли вдоль вышек. Мелик-Асланов говорил быстро, показывая рукой то на один участок, то на другой, и голос его звучал так, будто он произносил эти слова уже сотни раз, но сегодня в них появилась новая интонация — будто он хотел не просто отчитаться, а передать гостю нечто важное, почти сакральное.

— Здесь фонтанные скважины. Дают по тридцать тысяч пудов в сутки. А вон там, видите, паровая машина? Немецкая. Нобели поставили. У них всё немецкое — машины, инженеры, даже каша, говорят, немецкая.

— Нобели, — повторил Манташев.

Он знал о них всё. Знал, что Людвиг Нобель — это не просто конкурент, а сила, с которой считаются министры. Знал, что «Бранобель» контролирует половину бакинской нефти. Знал, что их керосин горит в лампах от Петербурга до Тегерана. И знал, что если он, Александр Манташев, хочет войти в эту реку, ему придётся иметь дело не с людьми, а с системой.

— А это что? — спросил он, кивнув на чёрное озеро, рас-

кинувшееся между холмами.

— Амбар, — коротко ответил Мелик-Асланов. — Земляной амбар. Туда сливают нефть, когда не успевают вывозить. Иногда она горит. Тогда никто не тушит. Ждут, пока сама выгорит.

Манташев подошёл ближе. Поверхность озера была гладкой, как стекло, и в ней отражалось небо — серое, тяжёлое, с редкими проблесками солнца. Пахло так, что кружилась голова, и этот запах был одновременно отталкивающим и притягательным, как запах опасности. Он наклонился и зачерпнул рукой. Жидкость была тёплой, почти горячей, и оставляла на коже след, который не смывался.

— Сколько вы даёте? — спросил он.

— Кто? Мы? — Мелик-Асланов пожал плечами. — Смотря когда. В прошлом году давали двести тысяч пудов в месяц. Сейчас меньше — скважины стареют.

— А Нобели?

— Нобели дают больше. У них новые скважины, новые машины, свой флот. Они везут нефть в Астрахань, оттуда — по Волге, по всей России. Они — короли.

Манташев выпрямился. Вытер руку о платок — тот мгновенно почернел. Посмотрел на вышки, на людей, на чёрное озеро. И вдруг почувствовал то, что не чувствовал уже много лет: азарт. Не жадность. Не расчёт. Азарт игрока, который видит перед собой стол и понимает, что ставки высоки, но игра стоит свеч. В груди разливалось странное, почти

забытое чувство — чувство, что он стоит на пороге чего-то огромного, и если сейчас не сделает шаг, то потом будет жалеть всю жизнь.

— А если я скажу вам, — медленно произнёс он, — что через десять лет здесь будет не одна тысяча вышек, а три? Что через десять лет бакинская нефть будет гореть не только в России, но и в Индии, и в Египте, и в Китае?

Мелик-Асланов посмотрел на него с любопытством, в котором не было ни насмешки, ни недоверия, а лишь искреннее желание понять, что движет этим человеком.

— Вы либо сумасшедший, — сказал он, — либо очень богатый человек.

— Пока ни то, ни другое, — улыбнулся Манташев. — Но я собираюсь это исправить.

Они ещё долго ходили между вышками, и Мелик-Асланов рассказывал о проблемах с вывозом, о нехватке цистерн, о том, как трудно найти хороших мастеров, которые не сбегут через месяц. Манташев слушал внимательно, не перебивая, и лишь изредка задавал короткие, точные вопросы. В его голове уже складывалась картина — не идеальная, но достаточно ясная, чтобы начать действовать.

К вечеру они вернулись в Баку. Город встретил их шумом, пылью и запахом, от которого не было спасения. Манташев снял номер в «Гранд-отеле» — лучшей гостинице города, где пахло не нефтью, а лавандой, и где за три рубля в сутки можно было получить кровать с чистым бельём и ванну с

горячей водой.

Он долго отмывался, глядя, как чёрная вода уходит в сток. Кожа казалась чужой, будто она впитала в себя не только грязь, но и сам дух этого места. Наконец, он вышел из ванны, надел халат и сел к окну. Достал записную книжку в кожаном переплёте и начал писать.

«Баку, 14 октября 1889 года.

Я видел сегодня то, что искал. Нефть здесь везде — в земле, в воздухе, в людях. Нобели думают, что они хозяева. Ротшильды думают, что они хозяева. Рокфеллер думает, что весь мир — его. Но они забывают одну вещь: в Баку нет хозяина. Есть только тот, кто первым зачерпнёт.

Я знаю, что делать. Нужны деньги — много денег. Нужны связи — в Тифлисе, в Петербурге, в Париже. Нужны люди, которые не боятся грязи и не боятся риска. И нужно время. Годы. Может быть, десятилетия.

Но я сделаю это. Я построю здесь империю — не хуже, чем у Нобелей. И тогда они узнают, кто такой Александр Манташев.

Отец говорил: торгуй тем, что люди хотят. Люди хотят света. Я дам им свет. И они заплатят.

Сегодня я видел не просто промыслы. Я видел будущее. И оно пахнет нефтью».

Он закрыл книжку, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. За окном гудел город — чужой, враждебный, но уже начинающий принадлежать ему. Он чувствовал это, как чув-

ствует охотник, впервые увидевший след зверя. Завтра он поедет в Тифлис. Потом — в Петербург. Потом — в Париж. Нужно найти денег. Много денег. И тогда...

Он уснул, не додумав мысль. А за окном продолжал гореть Баку — чёрный, жаркий, безжалостный. Город, который не прощал ошибок и не давал второго шанса. Город, который ждал своего короля.

Глава 2. Дом на Сололакской

Тифлис, ноябрь 1889 года

Тифлис пах не нефтью — пах корицей, вином и прелым листом. Осень здесь была мягкой, золотой, и Манташев, сойдя с поезда на вокзале, на минуту замер, вдыхая этот воздух, который знал с детства. Запах ударил в голову, как вино, — и он почувствовал, как что-то внутри, стянутое за месяцы дороги в тугой узел, начало медленно расслабляться.

Он не был дома шесть месяцев. Сначала Манчестер — фабрики, склады, скучные англичане в котелках, говорившие о погоде так, будто от неё зависел курс акций, — а может, так оно и было. Потом Лондон — банки, биржа, разговоры о нефти, которые велись так, словно речь шла о погоде. Потом Баку — грязь, копать и чёрное озеро, от запаха которого до сих пор кружилась голова. И вот теперь — Тифлис.

Город встретил его шумом. Извозчики кричали, торговцы зазывали, где-то играла зурна, и голос муэдзина с минарета переплетался с колокольным звоном армянской церкви. Манташев шёл пешком, не торопясь, и ловил себя на том,

что улыбается. Он не любил экипажей — никогда не любил, даже когда мог себе позволить. В Манчестере его привыкли видеть идущим по мостовой, в любую погоду, и старый Дженкинсон, конторский клерк, говаривал: «Мистер Манташев ходит, как ходят мысли — без задержек и без лишнего шума». Он любил этот город — Тифлис. Любил его хаос, его пыль, его вечное движение, его бесконечный, нестройный хор голосов, в котором каждый кричал о своём и никто не слушал другого. Здесь всё было живым — даже камни.

На углу Головинского проспекта старый персиян продавал гранаты — груды рубиновых зёрен в корзине из пальмовых листьев. Манташев остановился, купил один, разломил и ел, идя дальше, — сок стекал по пальцам, и это было так просто и так хорошо, что он на мгновение забыл о Баку, о нефти, о Нобелях и обо всём, что ждало его впереди.

Дом на Сололакской улице стоял на холме, над Курой. Большой, каменный, с высокими окнами и резным балконом, увитым виноградом, который уже пожелтел и теперь казался золотым кружевом на сером камне. Отец купил его двадцать лет назад, когда дела пошли в гору после Тебриза — когда персидские товары наконец начали приносить не просто достаток, но настоящее богатство. Тогда Манташеву было двенадцать, и он помнил, как они переезжали — из маленькой квартиры в Навтлуге, где зимой было холодно, а летом душно и где единственным украшением стен была литография горы Арарат, подаренная материной тёткой, — в этот

дом, где было всё: свой сад, своя конюшня, своя библиотека, в которой отец, человек малообразованный, но упрямый, собрал все книги на армянском, какие только можно было найти в Тифлисе.

Мать умерла через год после переезда. Тифлисская сырость добила её — лёгкие, и без того слабые после тебризских лихорадок, не выдержали первой же зимы. Отец так и не женился снова. Дом остался таким, каким она его знала, — и в этом было что-то трогательное, и что-то невыносимо тяжёлое.

Александр поднялся по ступеням. Каменные перила были холодными и влажными — ноябрьский Тифлис дышал сыростью, которая проникала повсюду, в стены, в одежду, в кости. Он толкнул дверь. В прихожей пахло воском и старым деревом — запах, который он узнал бы с закрытыми глазами, в любой точке мира. Навстречу выбежала служанка — молодая армянка с чёрными косами, лицо смуглое, глаза испуганно-радостные.

— Господин Александр! — ахнула она. — Мы не ждали вас сегодня! Господин Иван Ованесович в кабинете. Я сейчас, сейчас...

— Не надо, — Манташев улыбнулся и снял пальто. На воротнике остался буроватый след — бакинская пыль, въевшаяся в сукно так глубоко, что ни одна чистка не возьмёт. — Я сам.

Он прошёл через гостиную — ту самую, где стоял рояль,

купленный в Вене, и где на стенах висели картины, привезённые из Италии, пейзажи с оливами и руинами, которые отец покупал не потому, что понимал в них толк, а потому, что ему сказали: в порядочном доме должны быть картины. Здесь ничего не изменилось. Всё та же тяжёлая мебель тёмного красного дерева, те же тяжёлые шторы с бахромой, тот же запах отцовских сигар — египетских, крепких, от которых слёзы наворачивались, но которые он курил одну за другой с упорством, достойным лучшего применения. И рояль — закрытый, молчаливый, за шесть лет ни разу не открытый. Мать играла на нём по вечерам — негромко, неумело, но отец слушал так, будто это был Бетховен.

Иван Ованесович Манташев сидел за письменным столом, заваленным бумагами, счетами, образцами тканей. Ему было шестьдесят девять — высокий, сухой, с седой бородой, расчёсанной на две стороны, и пронзительными чёрными глазами, которые с годами не потускнели, а, напротив, стали острее, как будто возраст отточил их, как точилку. Руки его — длинные, узловатые, с рыжими веснушками на тыльной стороне — лежали на стопке счетов, и пальцы чуть подрагивали: не от слабости, а от того внутреннего напряжения, которое не покидало его уже давно. Он поднял голову, когда сын вошёл, и на мгновение в его взгляде мелькнуло что-то — радость? тревога? — но тут же исчезло, сменившись привычной сдержанностью, выработанной годами торговли в Тебризе, где показывать чувства было опасно.

— Приехал, — сказал он. Это был не вопрос.

— Приехал, — ответил Александр.

Они не обнялись. В их семье это было не принято — отец считал объятия баловством, а может, просто не умел. Но Александр подошёл и поцеловал отца в щёку — сухую, пахнущую табаком и одеколоном. Щека была горячей, и это его встревожило: отец вечно был холодным, как все сухие люди, а горячая кожа означала лихорадку или простуду. Но он не сказал ничего. Отец кивнул, принимая поцелуй как должное, и указал на кресло.

— Садись. Рассказывай.

Александр сел в кресло напротив. Кожа его была протёрта до проплешин — он сидел в этом кресле мальчиком, когда отец объяснял ему разницу между бумазеей и ситцем, потом юношей, когда вернулся из Манчестера, потом мужчиной, когда сообщал, что открыл счёт в Лондонском банке. Кресло помнило больше, чем он сам. За окном шумел Тифлис — далёкий, чужой, но всё-таки свой.

— Я был в Баку, — начал он. — Видел промыслы. Это... это нечто, отец. Я такого не видел никогда. Тысячи вышек. Нефть бьёт фонтанами — бьёт из земли, как вода из родника, только чёрная, густая, и запах... — он запнулся, подбирая слово, — запах ни на что не похожий. Она пахнет так, будто земля раскрылась и показывает нутро. Люди работают в грязи, в копоты, по пояс в мазуте, но там — деньги. Огромные деньги.

Отец слушал молча. Он всегда так слушал — не перебивая, не задавая вопросов, только чуть прищулив глаза, как будто от солнца, и чуть наклонив голову, как будто ловил не слова, а то, что стояло за ними. Так слушал он тебризских купцов, когда они предлагали сделку. Так слушал он митрополита, когда тот говорил о долге. Так слушал он сына — и Александр знал, что этот человек видит насквозь.

— Я хочу войти в это дело, — продолжил Александр. — Есть фирма — «А. Цатуров и К°». Они добывают нефть в Балаханах, но у них нет денег на расширение. Скважины стареют, оборудование ветшает, а Цатуров — человек осторожный, он не хочет рисковать. Я говорил с ним. Он готов продать часть паёв.

— За сколько?

— Триста тысяч. За четверть.

Тишина, которая последовала за этим, была такой плотной, что, казалось, её можно пощупать. Где-то за стеной тикали часы — старые, с боем, купленные отцом в Тебризе, — и каждый удар молоточка по колокольчику звучал, как приговор.

Отец медленно откинулся на спинку кресла. Взял со стола сигару — египетскую, из тех, что он курил только в минуты важных решений, — обрезал кончик, закурил. Долго, тщательно, как будто это было самое важное дело на свете. Сизый дым поплыл к потолку, и в нём закрутился солнечный луч, пробившийся сквозь штору.

— Триста тысяч, — повторил он. — У нас нет таких денег.
— Я знаю. Но есть связи. Есть дом. Есть...
— Что ты предлагаешь? Заложить дом?

Александр молчал. Именно это он и предлагал. Он готовился к этому разговору три дня, на пароходе из Баку, — выстраивал доводы, подбирал слова, считал цифры. И вот теперь, в этой комнате, где пахло сигарами и старым деревом, все доводы рассыпались, как дешёвый табак из дырявого кисета.

Отец выпустил дым и посмотрел на сына — долгим, тяжёлым взглядом, от которого стало не по себе. Не потому что в нём был гнев — гнев он бы выдержал. В нём было то, чего хуже гнева: разочарование. Или, может быть, не разочарование, а усталость — усталость человека, который строил всю жизнь и теперь видит, как кто-то хочет разобрать его постройку, кирпич за кирпичом.

— Я торгую тканями сорок лет, — сказал он наконец. Голос его звучал ровно, без повышения, без дрожания, но от этого ровного тона было тяжелее, чем от крика. — Сорок лет, Александр. Я начинал в Тебризе, в лавке размером с эту комнату. Я торговал хлопком, шёлком, ситцем. Я знаю это дело. Знаю, сколько стоит аршин ситца и сколько — штука шёлка. Знаю, кому продавать и когда продавать, и когда придержать товар, и когда отдать себе в убыток, чтобы завтра получить вдвое. Это — моё. Это — то, что я построил. А нефть... — он покачал головой, и этот жест, медленный,

усталый, был красноречивее слов. — Нефть — это огонь. Она сжигает тех, кто её не понимает.

— Я понимаю, — тихо сказал Александр.

— Понимаешь? — отец усмехнулся, и в усмешке его не было злости, а была горькая, старая ирония человека, который видел слишком много людей, «понимавших» слишком мало. — Что ты понимаешь? Ты был в Баку три дня. Ты видел вышки, фонтаны, грязь. Ты думаешь, что это — деньги. Но это — война. Там Нобели, там Ротшильды, там люди, которые готовы жечь и убивать за лишний пуд. Ты готов жечь?

— Я готов бороться.

— Это одно и то же.

Они замолчали. За окном кричал торговец — «Гранат! Сладкий гранат!» — и его голос, высокий, чистый, казался чужим в этой тихой комнате, где отец и сын сидели друг напротив друга, как два противника, разделённых не столом, а чем-то гораздо более глубоким. Может быть, поколениями. Может быть, представлениями о том, что такое риск и что такое дом.

Александр посмотрел на отца — по-настоящему посмотрел, не как сын, а как человек, видящий другого человека. Отец постарел. За полгода, что они не виделись, он постарел так, как стареют не от времени, а от тревоги. Кожа на лице стала тоньше, под глазами залегли тёмные тени, а руки, лежавшие на столе, едва заметно дрожали — дрожью, которую он, видимо, научился скрывать от всех, кроме тех, кто знал

его с детства.

— Я не буду закладывать дом, — сказал отец. И в его голосе вдруг прозвучала мягкость, которой Александр не ожидал. — Это дом твоей матери. Здесь родились твои сёстры. Здесь ты вырос. Здесь она... — он не договорил, провёл рукой по столу, будто разглаживая невидимую складку. — Нет. Дом — не для залога. Дом — это последнее, что остаётся, когда всё остальное сгорает.

Александр кивнул. Он знал, что отец скажет это. Знал и всё-таки надеялся — на что? Может быть, на то, что отец скажет: «Бери всё. Бери дом, деньги, имя. Иди и не оборачивайся.» Но отец так не скажет. Отец никогда так не скажет. Он скажет другое — и он сказал.

— Но я дам тебе другое, — продолжил Иван Ованесович. Он встал — медленно, с трудом, и Александр увидел, как тяжело ему даются движения, которые ещё полгода назад были лёгкими. Подошёл к шкафу, открыл ящик, достал конверт — плотный, сургучный, с тиснёной печатью. Положил на стол перед сыном.

— Я дам тебе имя. Поезжай в Петербург. К Гукасову. Павлу Осиповичу. Он мой старый друг, и у него есть деньги — настоящие деньги, не тифлисские. Он нынче в нефти, головой в нырнул, и, говорят, преуспевает. Скажи ему, что я прошу. Он не откажет.

Александр поднял глаза.

— Гукасов? Тот, что владеет Каспийским товарище-

ством?

— Тот самый. Мы вместе начинали — ещё в Тебризе, когда ты был ребёнком, когда он приезжал к нам покупать хлопок, а я у него — шелк. Он был тогда моложе тебя. А теперь — председатель правления, инженер, человек, к которому в Петербурге ходят на приём. Но он помнит. Он помнит Тебриз, помнит меня, помнит, как мы сидели вот так же, как сейчас, и спорили о ценах. Он поможет.

Отец подошёл к окну. За стеклом медленно гас день — солнце садилось за Курой, и небо становилось розовым, потом лиловым, потом тёмным. Река внизу блестела, как чёрное стекло, и в этом блеске было что-то нефтяное, что-то от Баку, что заставило Манташева на мгновение зажмуриться.

— Я не верю в нефть, — сказал отец тихо, не оборачиваясь. — Я не верю в то, что можно выжать из земли богатство и не обжечься. Ткань можно сложить, упаковать, отложить на год — она подождёт. А нефть не ждёт. Она горит, течёт, уходит. Она живая, и живое предаёт.

Он помолчал. Потом, всё так же не оборачиваясь, добавил:

— Но я верю в тебя. Ты всегда был упрямым. Как мать. Она тоже никогда не слушала никого. Когда я сказал ей, что мы переезжаем в Тифлис, она ответила: «Хорошо. Но я возьму с собой розовый куст из Тебриза.» И взяла. Он растёт во дворе, у южной стены. Каждый год цветёт. А она... — голос его дрогнул, едва заметно, на одну ноту, и тут же выровнял-

ся. — Она тоже не слушала.

Александр почувствовал, как что-то сжалось в горле — тугой, горячий ком, который невозможно было ни проглотить, ни выплюнуть. Он редко вспоминал мать — она умерла, когда ему было тринадцать, и с тех пор её образ стёрся, стал размытым, как фотография, пролежавшая на солнце. Но иногда, в минуты сомнений, он слышал её голос — мягкий, с лёгким акцентом, с тем особенным тифлисско-армянским выговором, в котором мягкие согласные звучали как шёпот, — и этот голос говорил: «Не бойся, Александр. Ты справишься. Ты всегда справлялся.» Может быть, она говорила это перед смертью, может быть, он выдумал это потом, но слова были живые, тёплые, и он повторял их про себя каждый раз, когда страх подступал к горлу.

— Спасибо, отец, — сказал он.

Иван Ованесович не обернулся. Только махнул рукой — иди, мол. Иди, пока я не передумал. Или пока я не заплакал, что было бы хуже, чем любое передумывание.

Александр встал, положил конверт во внутренний карман — туда, где носил письма и записную книжку, — и вышел из кабинета. В дверях он оглянулся: отец стоял у окна, силуэт на фоне тёмного неба, и сигарный дым поднимался к потолку ровной сизой струйкой, как ладан в церкви.

Он прошёл через гостиную, где рояль всё так же стоял в углу, закрытый, молчаливый, и провёл рукой по крышке — пыль легла на пальцы серой полоской. Никто не играл на нём

с тех пор, как мать в последний раз открыла крышку. Никто не откроет. Но выбросить его — об этом не заговаривал даже отец, который вообще не выбрасывал ничего.

Александр поднялся в свою старую комнату. Здесь ничего не изменилось: кровать под тяжёлым одеялом, стол с книгами — «Трактат о торговле» Джона Стюарта Милля рядом с томиком Лермонтова, — на стене карта мира, которую он повесил в детстве и которую отец так и не снял, хотя прошло двадцать лет. Он подошёл к ней, провёл рукой по пожелтевшей бумаге. Баку был отмечен красным кружком — он поставил его ещё мальчиком, когда отец впервые рассказал ему о чёрном городе на море, о фонтанах нефти и о людях, которые купались в золоте, как в чёрной воде. Тогда это казалось мечтой. Теперь — планом.

Он сел за стол, достал записную книжку и написал:

«Тифлис, 20 ноября 1889 года.

Отец не дал денег. Но дал имя. Гукасов — это ключ. Завтра еду в Петербург.

Отец не верит в нефть. Он верит в ткань — в то, что можно сложить, упаковать, отложить. Он прав в одном: нефть не ждёт. Она горит, течёт, уходит. Но именно поэтому она живая, а живое — это то, что движет мир. Ткань можно сложить. Нефть нельзя. И в этом — её сила.

Я не знаю, что будет дальше. Может быть, я проиграю. Может быть, останусь ни с чем. Но я не могу сидеть здесь и торговать тканями, когда где-то там, в Баку, горит земля.

Когда Нобели строят империю. Когда Ротшильды скупают промыслы. Когда каждый день, который я трачу на раздумья, кто-то другой тратит на дело.

Мама, если ты меня слышишь, помоги. Я не хочу бояться. Но если бояться придётся — помоги мне бояться и всё равно идти.

Отец сказал: нефть — это огонь, и она сжигает тех, кто её не понимает. Пусть. Я понимаю. Я видел этот огонь. И я готов войти в него».

Он закрыл книжку, лёг на кровать и уставился в потолок. Отцовские часы внизу пробили десять — медленно, торжественно, как будто отсчитывали не часы, а что-то более важное. За окном шумел Тифлис — вечный, живой, безразличный. Где-то внизу, в саду, под южной стеной, цвёл розовый куст, привезённый из Тебриза, — последний подарок матери, которая не слушала никого. А где-то далеко, за горами, за степями, за морем, горел Баку — чёрный город, который ждал своего короля.

Глава 3. Нева во льду

Санкт-Петербург, декабрь 1889 года

Петербург встретил его морозом. Не тем мягким кавказским холодом, к которому Манташев привык с детства, — а настоящим, злым, проникающим сквозь любое пальто, сквозь кожу, до костей. Когда он вышел из вагона Николаевского вокзала, воздух ударил в лицо, как пощёчина. Дыхание мгновенно превращалось в пар, а пар — в ледяные кристал-

лы на усах и ресницах, так что приходилось то и дело смахивать их перчаткой.

Он стоял на перроне, среди толпы, и смотрел на город, раскинувшийся перед ним. Петербург не был похож на Тифлис. Тифлис жил, дышал, кричал, торговался, спорил. Петербург — молчал. Его дома стояли ровными рядами, как солдаты на параде, серые и жёлтые, с окнами, забранными морозными узорами, будто кто-то вышил на стёклах ледяные кружева. Небо было низким, свинцовым, и казалось, что оно давит на крыши, не давая им подняться выше положенного.

— Извозчик! — крикнул Манташев, поднимая руку.

Сани скользнули по брусчатке, и колокольчик на дуге зазвенел — тонко, пронзительно, почти жалобно. Манташев смотрел по сторонам, пытаясь понять этот город. Здесь всё было иначе: не было криков торговцев, не было запаха специй и вина, не было зурны. Были только лошади, колокольчики, редкие прохожие, закутанные в шубы, и бесконечная белая равнина Невы, скованной льдом.

Лёд был неровным, в буграх и трещинах, и местами на нём чернели проруби, вокруг которых сутились водовозы. Манташев вспомнил Баку — чёрный, горячий, живой, где земля дышала огнём. Здесь всё было белым и мёртвым.

«Но деньги здесь, — подумал он. — Деньги и власть. А власть всегда выбирает холод, а не тепло».

Гостиница «Англетер» на Исаакиевской площади была одной из лучших в городе — её только что открыли, и она

ещё пахла краской и новым деревом, и этот запах странным образом смешивался с запахом угля из печей и воска, которым натирали полы. Манташев снял номер на третьем этаже, с видом на Исаакиевский собор. Номер стоил восемь рублей в сутки — почти месяц жизни в Тифлисе. Но он не жалел. Здесь нужно было выглядеть как человек, с которым можно иметь дело.

Он долго стоял у окна, глядя на собор. Тёмный, огромный, с золотым куполом, который тускло мерцал сквозь морозную дымку, словно пытался пробиться сквозь этот серый воздух. В Тифлисе церкви были маленькими, тёплыми, из камня цвета мёда. Здесь — камень был холодным, как сама зима.

Манташев достал записную книжку и написал:

«Петербург, 5 декабря 1889 года. Город чужой. Холодный. Но это ничего. Здесь решается всё. Завтра — Гукасов. Отец сказал: нефть — это огонь, и он сжигает тех, кто её не понимает. Я понимаю. Я видел этот огонь. И я готов войти в него. Мама, если ты меня слышишь, помоги мне не дрогнуть».

Он закрыл книжку, убрал её во внутренний карман и ещё долго стоял у окна. За стеклом медленно кружились снежинки, и казалось, что весь город укутан тонкой, но непроницаемой вуалью.

Павел Осипович Гукасов жил на Сергиевской улице, в доме, который знал весь Петербург. Манташев шёл туда пешком — сани отпустил за квартал, чтобы собраться с мысля-

ми. Мороз щипал щёки, ветер с Невы забирался под воротник, но он не замечал. Он думал.

Гукасов был ровесником — родился в 1858 году, всего на год старше Манташева. Но в нефтяном мире он был уже легендой. Возглавил «Каспийское товарищество» в тридцать один год, был председателем Совета бакинских нефтепромышленников. Армянин из Шуши, как и Манташев — из Тифлиса. Оба — из купеческих семей. Оба начинали с малого. Но Гукасов уже был на вершине, а Манташев только поднимался.

Он поднялся по широкой лестнице, устланной ковром. Лакей в ливрее открыл дверь, взял его пальто и провёл в кабинет.

Гукасов сидел за огромным письменным столом из тёмного дуба. Он был невысок, плотен, с короткой бородой и умными, внимательными глазами, в которых не было ни снисхождения, ни враждебности — только расчёт и любопытство. На нём был домашний сюртук, но даже в нём он выглядел как человек, привыкший к власти. На столе лежали бумаги, чертежи, какие-то образцы — куски породы, колбы с тёмной жидкостью.

— Александр Иванович, — сказал он, поднимаясь навстречу. Голос был низким, спокойным, без лишней теплоты. — Наслышан. Ваш отец — Иван Ованесович — писал мне. Как он?

— Жив, слава Богу. Кланяется вам.

— Хороший человек, — Гукасов кивнул, и в этом кивке было что-то почти бережное. — Мы вместе начинали. Давно это было. Садитесь.

Манташев сел в кресло напротив. Оно было глубоким, кожаным, и он вдруг почувствовал, как устал — от дороги, от мороза, от напряжения последних недель, от ожидания этого разговора, который мог всё решить.

Гукасов налил ему чаю из серебряного самовара, стоявшего тут же, на столе. Чашки были тонкого фарфора, с золотым ободком, и Манташеву показалось, что они слишком хрупкие для его рук, привыкших к тряской пролётке, к нефтяным вышкам, к грубым верёвкам и железным крюкам.

— Итак, — сказал Гукасов, садясь обратно. — Вы хотите войти в нефть.

— Хочу.

— Почему?

Манташев помолчал. Он знал, что этот вопрос будет. Знал, что ответ на него определит всё.

— Потому что там — будущее, — сказал он наконец. — Ткани — это прошлое. Я торгую ими двадцать лет, и я знаю: рынок не растёт. А нефть... — он подался вперёд, и голос его стал твёрже. — Нефть — это кровь нового века. Она горит в лампах, она движет машины, она будет двигать поезда, пароходы, заводы. Кто владеет нефтью — владеет временем.

Гукасов слушал, не перебивая. Лицо его оставалось непроницаемым, и только пальцы, едва заметно постукивав-

шие по краю стола, выдавали, что он думает.

— Красиво говорите, — сказал он, когда Манташев закончил. — Но красивые слова — не деньги. Сколько вам нужно?

— Триста тысяч. За четверть паёв в фирме «А. Цатуров и К°».

Гукасов откинулся в кресле. Взял со стола колбу, посмотрел на неё на свет — тёмная жидкость внутри была густой, почти чёрной, и в ней, казалось, отражался весь Баку.

— Цатуров, — сказал он медленно. — Я знаю эту фирму. У них хорошие участки, но плохие машины. Они не могут качать столько, сколько могли бы. Им нужны деньги, и они это знают. Триста тысяч — это много. Слишком много.

— Это справедливая цена.

— Справедливая, — Гукасов усмехнулся, и усмешка эта была не злой, а скорее усталой. — В нефти нет справедливости. Есть только выгода. Но... — он поставил колбу обратно, и звук стекла о дерево прозвучал в тишине кабинета как удар. — Мне нравится ваш подход. Вы не просто хотите денег. Вы хотите построить. Это редкость.

Он встал, подошёл к окну. За стеклом шёл снег — мелкий, частый, он засыпал улицу, стирая границы между домами и небом, делая город похожим на рисунок, который кто-то торопливо затирает ластиком.

— Я дам вам деньги, — сказал он, не оборачиваясь. — Не триста, а двести пятьдесят. Остальное найдёте сами. И я дам вам кое-что ещё.

— Что?

— Имя. — Гукасов обернулся, и взгляд его стал прямым, почти жёстким. — Когда вы придёте к банкирам — а вам придётся идти к банкирам, — скажите, что я вас рекомендовал. В Петербурге это значит больше, чем деньги.

Манташев почувствовал, как что-то сжалось в груди. Он знал, что это — не просто помощь. Это — ставка. Гукасов ставил на него. И если он проиграет, проиграет не только он.

— Спасибо, — сказал он тихо.

— Не благодарите. — Гукасов вернулся к столу, сел и посмотрел на Манташеву так, будто видел его насквозь. — В нефти нет друзей. Есть только партнёры. Сегодня мы партнёры. Завтра — посмотрим. — Он протянул руку. — Удачи, Александр Иванович. Она вам понадобится.

Манташев пожал руку. Ладонь Гукасова была сухой и твёрдой, как старое дерево, и в этом рукопожатии было обещание и предупреждение одновременно.

Вечером он сидел в ресторане «Контан» на набережной Мойки — том самом, где собирались банкиры, промышленники, люди дела. За окном горели фонари — электрические, новые, они давали яркий, резкий свет, не похожий на тёплое пламя керосиновых ламп в Баку. Свет этот был холодным и беспощадным, и в нём лица казались чуть более усталыми, чуть более хищными.

Он заказал устриц и шампанское. Не потому, что хотел, — потому что так делали все. Он смотрел на людей вокруг:

мужчины в сюртуках, женщины в шёлках, официанты с бесстрастными лицами, будто вырезанными из дерева. Здесь говорили о бирже, о политике, о войне. Здесь решались судьбы империи.

И он вдруг понял: это его место. Не Баку с его грязью и потом. Не Тифлис с его базарами и зурной. Здесь. В этом холодном, чужом, безжалостном городе, где всё продаётся и всё покупается, где слово стоит столько, сколько за него готовы заплатить.

Манташев достал записную книжку и написал:

«Петербург, 6 декабря 1889 года. Гукасов дал денег. Двести пятьдесят. Мало, но достаточно для начала. Он сказал: в нефти нет друзей. Он прав. Но есть партнёры. И есть враги. Нобели. Ротшильды. Рокфеллер. Они все здесь. Они все думают, что Баку — их. Я покажу им, что они ошибаются. Сегодня я вошёл в эту комнату, как ученик. Завтра я войду, как хозяин. Если, конечно, не сгорю по дороге».

Он закрыл книжку, расплатился и вышел на улицу. Мороз стал ещё сильнее, и казалось, что даже воздух стал гуще, тяжелее. Нева была скована льдом, и где-то вдалеке, на другом берегу, тускло светились окна дворцов, будто звёзды, упавшие на землю.

Он стоял и смотрел на реку. Она была мёртвой. Но подо льдом шла вода — тёмная, быстрая, живая. Она ждала весны.

Как и он.

Глава 4. Чёрное золото, чёрная кровь

Баку, февраль 1890 года

Зима в Баку была не похожа на петербургскую. Здесь не было снега, не было льда на Неве, не было свинцового неба, которое давит на крыши, как крышка гроба. Была только грязь — чёрная, липкая, бесконечная, в которой тонули сапоги и колёса пролёток. И ветер — упрямый, холодный, нудный, который нёс с промыслов запах нефти, смешанный с запахом моря и горелого железа. Этот ветер не свистел, как петербургский, не бил, как тамошний мороз, — он забирался под одежду тихо, крался, как вор, и к вечеру человек обнаруживал, что продрог до костей, сам не заметив когда.

Манташев сошёл с парохода на пристань и сразу почувствовал: он дома. Не в том смысле, что здесь его ждали, — нет, здесь его никто не ждал. Просто здесь всё было понятно. Здесь не нужно было притворяться, носить маску, говорить о «будущем империи» и улыбаться людям, которым ты безразличен. Здесь нужно было работать.

Он стоял на пристани и смотрел на город — знакомый, ненавистный, притягательный. Баку встречал его тем же, чем и в прошлый раз: гудком парохода, криком грузчиков, запахом керосина, который стоял в воздухе, как невидимая стена. Только теперь Манташев смотрел на всё это иначе. В прошлый раз он приезжал смотреть. Теперь он приезжал брать.

Он вернулся не один. С ним был Ашот Меликян — молодой инженер, которого он переманил из фирмы Нобеля.

Ашот был родом из Шуши — того самого города, откуда был Гукасов. Учился в Петербургском технологическом институте, работал в Баку уже пять лет и знал промыслы так, как знают свой дом: с закрытыми глазами, на ощупь, по запаху. Невысокий, жилистый, с быстрыми руками и ещё более быстрыми глазами, он говорил мало, но каждое слово его было точно, как удар молотка по гвоздю. И, что важнее всего, он ненавидел Нобелей — не слепой ненавистью обиженного, а холодной, выверенной злостью человека, который видел их изнутри и знал, как они устроены.

Манташев нашёл его в тифлисской кофейне на Мейдане, куда Ашот приехал навестить больную мать. Они говорили три часа. Манташев не предлагал ему денег — он предложил ему месть, и Ашот понял это с первого слова.

— Смотрите, — сказал Ашот, когда они ехали в пролётке через Чёрный город. — Видите? Всё это — их.

Он показал рукой на бесконечные ряды вышек, заводов, складов, труб, которые тянулись от берега до горизонта, как чёрный лес на выгоревшей земле. На трубах, на воротах, на бочках — везде была одна и та же надпись, выведенная белой краской по чёрному железу: «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.